

УДК 821.161.1

Кузнецова О.А.

(г. Москва)

О ПРИТЧЕВОМ НАЧАЛЕ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ XVII В.

Аннотация. В статье рассматривается зарождение жанра стихотворной притчи в русской поэзии XVII в. Освоение притчи древнерусской литературой происходит довольно рано, сюжеты черпаются из Священного Писания, Пролога и других переводных произведений, особенно распространившихся к приходу раннего Нового времени. Посредством проникновения притчевых мотивов в произведения различных стихотворных школ в ранней книжной поэзии возникает тенденция к сюжетообразованию. Самым показательным материалом для рассмотрения этого процесса становятся стихотворные послания представителей приказной школы.

Ключевые слова: древнерусская литература, вирши, поэтические школы, жанрообразование, притча.

O. KUZNETSOVA

(Moscow)

THE EMERGENCE OF PARABLES IN THE RUSSIAN POETRY
OF XVII CENTURY

Abstract. This article discusses the emergence of the genre of poetic parables in the Russian poetry of the XVII century. Mastering the parable in Russian Medieval literature occurs quite early. Stories are drawn from Holy Writ, Prolog and other translated works, which had become particularly prevalent by the times of the New Age. The plot-forming tendency occurs through the infiltration of parable motifs into the works of various poetic schools of author's poetry. The most illustrative examples of this process are the poetic epistles written by the representatives of Departmental (or Prikaznaya) school.

Key words: Medieval literature, verses, poetic schools, genre formation, parable.

«И уже довольно о сем к тебе, господину моему, написахом, // иже от многих притчей и случаев избрахом» [1, с. 174] – пишет в конце первой трети XVII в. стихотворец по имени Савватий, оглядываясь на своё многословное поэтическое послание, в котором, действительно, приводится немало аллегорических картин учительного характера из самых разных источников. В науке уже не раз отмечалось, что слово «притча» в XVII в. имело около 12

значений [4, с. 59–60] и ещё не было устоявшимся жанровым определением. В то же время это слово встречается в виршах в качестве характеристики жанровой формы неоднократно: к примеру, Фёдор Гозвинский, предваряя свой перевод басен Эзопа небольшим стихотворным вступлением, пишет:

Притча к притчам – сказание и глагол притчи,
И в притчах притчослагатель глаголет вещи [1, с. 25].

В полном тексте этого стихотворения наряду с шестикратным употреблением слова «притча» один раз встречается и «басня».

Об особенностях жанра притчи и его месте в древнерусской литературе неоднократно писали исследователи (С. Добротворский [6, с. 375–415], Н.И. Прокофьев. [9, с. 3–16], Е.К. Ромодановская. [11, с. 74–111] и др.) В большинстве научных работ на эту тему представлено широкое понимание притчи как жанровой формы: на материале древнерусской литературы исследователи выделяют притчи в составе Повести временных лет, эзоповых сюжетов, пословиц, загадок и повестей. Н.И. Прокофьев говорит о возможности редукции хорошо известной притчи вплоть до отдельного образа [10, с. 14]. Л.И. Алёхина использует понятие «притчеобразности» [5, с. 421] применительно к различным произведениям XVII в., неоднородным в жанровом отношении, но содержащим элементы нравоучения и иносказания. Однако до сих пор мало изучена формообразующая роль притчи в русских виршах XVII в., которые в контексте заявленной проблемы предоставляют очень интересный материал для наблюдений.

Метафоричность и иносказательность являются основными средствами в произведениях приказной школы стихотворства – группы поэтов, писавших в 30-е–40-е гг. XVII в. Об этом же говорит крупнейший исследователь поэзии приказных авторов А.М. Панченко: «Если уподобление – основной приём поэтического языка приказной школы, то в пользовании этим приёмом ощущается предпочтительная «естествословная» тенденция» [8, с. 52]. Мир природы является для этих авторов неиссякаемым источником для построения нравоучительных аналогий. При этом многие традиционные иносказания воспроизводятся ими из других авторитетных текстов, в результате чего возникает смешение смыслов.

В стихотворении справщика Савватия «О слабом обычае человеческого» приводится развернутая нравоучительная картина противопоставления человеческого и природного миров. В начале рассуждений природа, по традиции, обрисовывается как идеальная модель: «...море же наводнено яко чаша налита стоит // и нам же таковым уставом велми претит» [1, с. 168] – говорится в связи с нежеланием человека следовать Божественным заповедям. «Такожь и вся животная пребывают в повеленном им уставе,

// мы же нигоже стоим в преданной нам славе: // всегда бо Творца¹ своего и Бога заповеди преступаем» [1, с. 168] – заключает Савватий. Но далее следуют традиционные сопоставления человеческих пороков со свойствами конкретных животных: свиньи в нечистотах, глухого аспида, после чего следует новое заключение: «Неложно бо есть реченное к нам, яко неразумием своим горши есми скота» [1, с. 169] – поведение человека снова оказывается хуже поведения животных, но на этот раз сравнение со скотом толкуется как уничижительное. Подобные противоречия возникают из-за обращения книжников к широкому кругу источников – от светских до церковных, канонических – и последние могут в дидактической интерпретации отдельных образов не сходиться с первыми, хотя учительные примеры из Священного Писания преобладают.

Авторы приказной школы хотя и строят образную систему своих виршей на фундаменте библеизмов и, в частности, много апеллируют к Евангельской этике, создали большое количество стихотворений обличительного характера. Причина этого заключается в том, что приказные поэты позиционируют себя и самоутверждаются как мыслящая элита общества, обычный адресат их поэзии – человек, «взыскующий мудрости». Поэтому обличительные вирши и даже сатирические выпады против литературного собеседника привычны для посланий от «дидакакала» (наставника) к ученику или собрату по перу, при этом стихи обличительного характера непременно включают этикетные формулы вежливости, изъявления почтения. Мысль о необходимости дидактических примеров на страницах посланий выражена в следующих строчках приказного стихотворца:

Мерзость есть безумному обличение,

Умному же и разумному бывает во учение [1, с. 151].

Именно послание с традиционным обличением оказывается той жанровой формой, которая вводит в русскую поэзию этого периода притчу. Впоследствии притча трансформируется в самостоятельный поэтический жанр.

В стихотворной практике XVII в. использовались особого рода сцепления животных образов и человеческих качеств: в этом случае людские пороки не ставятся в параллель с поведением животных, но применительно к людям говорится о наличии у них атрибутов, связанных с животным миром. Метафорическое переосмысление ложится уже не на само животное, а, к примеру, на части его тела. Так, поэт начала столетия Антоний Подольский сравнивает злых и гордых людей с неистовыми зверями и, в частности, обращается к обличаемому адресату послания:

¹ Здесь и далее слова «Творец», «Господь» и «Бог» написаны в соответствии с современными правилами орфографии, тогда как в цитируемых источниках присутствует написание со строчной буквы.

Яко же и ты, как учал быти богат,
Так учинился еси аки рогат [1, с. 36].

Человек, который разбогател и забыл о смирении, гордец, называется рогатым. Здесь возможны параллели с зооморфными чертами дьявола. Тот же автор говорит о гордом человеке как об облачённом в волчью кожу – а через несколько лет чернец Савватий, на творчество которого Антоний Подольский оказал огромное влияние, повторит этот оборот применительно к своему духовному сыну (в вину этому адресату также вменяется гордость и упрямство).

Антоний Подольский
«Послание к некоему горду и величаву»

Чернец Савватий
«Послание Кизолбау Петровичу»

А сам еси многому божественному учен,
Да почто таковою лютою страстию аки в
волчью кожу оболчен? [1, с. 35].

И паки лютою тою страстию аки тмою
помрачен,
Или яко в волчью кожу оболчен [1,
с. 157].

По-видимому, вплоть до XVIII в. рога гордого человека становятся общим местом для русских книжников. В сборнике «Вертоград многоцветный» (вторая половина XVII в.) Симеон Полоцкий также говорит о рогах гордости, которые снимают с себя люди при воспоминании о смерти. «Примеры, «подобия», изречения, притчи или апологи, пословицы («присловия»), «толкования», сентенции, символы, обычаи древних, эрудиция, достопамятные истории – все эти, согласно риторической терминологии, «внешние места», а кроме того ещё «молитвы», «увещания», «обличения» заполняют «Вертоград» [12, с. 559].

Другой стихотворец начала века Иван Шевелев-Наседка пишет резкие обличительные стихи полемического характера (в составе прозаического антипротестантского сочинения), направленные против лютеранства:

Той же Лютор Мартин хулным своим языком,
Яко бы некоторым змииным зыком² [1, с. 66]

Далее тот же Мартин Лютор сравнивается с лютым зверем, который «усты своими возреве». У Антония Подольского образы львов и змей, «зияющих устами» [1, с. 43], интерпретируются как параллель к власти имущим гордцам, которые причиняют неприятности бедным.

Мотивы приобретения людьми звериных черт были характерны для стихотворений первых десятилетий XVII в. и, возможно, воспринимались в контексте поверий об оборотничестве. Но ещё более примечательный в

² Богохульствует.

этом отношении пример можно привести из творчества поэтов Новоиерусалимской школы (вторая половина XVII в.). Анонимный автор обращается к Ангелу-хранителю со словами: «трелаву злобу от мене отжени» [3, с. 855]. Здесь анималистический мотив трехголового чудовища воспроизводится применительно уже не прямо к человеку, а к его пороку.

В жанровом отношении притчу часто определяет наличие толкования, поэтому у неё двучленная композиция. Двоестрочия с параллельной рифмовкой, широко применяемой поэтами начала XVII в., как раз обеспечивают двусоставность излагаемой мысли, поэтому у ряда авторов этого периода структура поэтического текста параболична [11, с. 88], художественный образ и его интерпретация составляют как бы две ветви параболы, концы которых перекликаются в рифме. Оформлено это может быть как в виде сравнения, так и в виде параллелизма:

Яко же огонь, пришед, изнуряет терние,
так и дух святыи, нашед, потребляет согрешение [1, с. 240].

Ароматныя воды сладостне обонянии обоневают,
Любомудрых же словеса не мнеё того слухи наслаждают
Елень течет на источники водныя,
Како же разумный муж не потечет на словеса благия?
Солнечный луч разгоняет облак темный,
Есть бо и мудроумный разрешает ум недоуменный.
Юхает сладостне кедровыя деревья во обонянии,
Соудивляют же мудрых словеса в наказании [1, с. 162].

Как видно из последнего примера, такие параболические ряды могут многократно нанизываться друг на друга. Особенно это характерно для поэзии справщика Савватия.

В виршах XVII в. обнаруживаются и более развернутые иносказания, выливающиеся в полноценные художественные образы и сюжеты. Однако такие элементы редко бывают самостоятельными: в силу этикетности [7, с. 96–97] древнерусской литературы поэты склонны в большей степени воспроизводить Евангельскую притчу или сюжет из Пролога, нежели изобретать свои примеры, которые не будут авторитетны. Использование ряда хорошо знакомых образов в качестве узнаваемого иносказания роднит поэтов различных поэтических школ XVII в.

Представление о человеческой жизни как о плавании на корабле среди бурных волн в надежде достичь тихого берега уходит глубоко в нашу культуру. Соответствующие мотивы есть в Евангелии, возникают они и в различных жанрах древнерусской литературы (Повесть временных лет, Житие

протопопа Аввакума и др.). Мотив окончания долгого плавания получил, в частности, устойчивую интерпретацию завершения книжного труда. В поэзии приказной школы иносказание реализуется в обеих формах: 'плавание – жизнь грешника' (чаще в молитве, покаянной лирике) и 'плавание – создание текста' (чаще в жанре стихотворного послания). Например, автор анонимной стихотворной молитвы говорит о себе: «Носим бо есть во окаянном своем теле аки во утлей лодии. // И являюся аки в море в мире сем прелестном» [1, с. 376]; с другой стороны, справщик Савватий в сохранившемся фрагменте послания к неизвестному замечает: «Вящши уже того не имам что к тебе писати, // уже подобает кораблю ко пристанищу стати» [1, с. 182]. Послания с покаянным пафосом также могут раскрывать образ в его первом значении:

И душевный мой корабль аки волнами в море сем носится
И яко от бурных ветр семо и овамо носится.
И не вем, како ко пристанищу Господь принесет
И многогрешную душу мою от смерти спасет [1, с. 366].
(Послание с покаянием от духовнаго сына ко отцу духовному.)

Поэты Новоиерусалимской школы, творчество которых в большей степени ориентировано на литургическую традицию, продолжают раскрывать это иносказание в традиционном ключе – так, к примеру, в анонимном цикле «Алфавит»: «В жития сего мори струя точка слезны» [3, с. 840]; «Корабль в грехах душевный с кормилом губящий» [3, с. 840]; «Егда волнами грех обуреваем» [3, с. 854]. Образ Николая Чудотворца, неоднократно возникающий в новоиерусалимских псалмах, тоже тесно связан с мотивом плавания. Николай Мирликийский в соответствии с житийной и богослужбной традицией выступает как кормчий и реального, и аллегорического корабля:

Паки яко корабль управи
И нашае жизни устави,
Смутныя, бурныя вси престави
Аду же волны подобныя,
Лютыя и неудобныя [3, с. 866].

Мотивы плавания человека в беспокойном житейском море впоследствии разовьёт Симеон Полоцкий (например, стихотворение «Камень прибежище зайцем» или третья часть цикла «Блудница» в сборнике «Вертоград

многоцветный»). Однако в его интерпретации это будут уже новые сюжеты: в эпоху расцвета стихотворной школы Полоцкого поэзия становится новеллистичнее и не нуждается уже столь остро в самообосновании.

Еще один притчевый сюжет, о котором стоит сказать, повествует о свирепом коне. Особенно хорошо эта притча была известна на Руси в изложении Максима Грека, где дерзкому коню, сбросившему всадника, уподобляется человеческая душа, которая без должного надзора и смирения впадает в грех. Этот образ является, пожалуй, одним из самых распространённых в русской поэзии первой половины XVII в. Наиболее полно он раскрывается в виршах Антония Подольского и стихотворца, известного под именем сына Стефана Горчака:

И воли ей <душе – О. К.> в ея хотении не давати.
Аще и несть мощно души нашей без нея быти,
но обаче не все бы в ея хотении жити.
Тем подобает ея аки коня браздою крепким умом своим кому держати
и во всех ея похотениих воли ей не давати [1, с. 49]

и яко неистовый конь по стремнине ходит
и сокрушение ногам своим наводит,
некогда и в конечную пропасть себе низводит,
из нея никакже себе освобождает;
тут ему конец и истление бывает,
понеже всякаго безумнаго неучение погубляет [1, с. 140]

В последнем примере особенно хорошо видно, как весьма развернутый сюжет является вкраплением в основные стихотворные рассуждения о человеческих пороках. В связи с этим на ум приходят стихи XIX в., в которых развернутые сравнения-сценки являются такого же рода отступлениями и риторическими приёмами. Например, послание П. Вяземского, где автор, рассуждая о Карамзине, сравнивает его позицию по отношению к недоброжелателям с поведением путника:

Так путник, посреди садов,
Любуясь зеленью и свежими цветами,
Не видит под травой ползущих червячков,
Их топчет, твердыми ногами
И далее идёт, не думая о них! [2, с. 81].

Итак, реализацию притчевой жанровой формы можно наблюдать не только в прозаических литературных текстах XVII в., но и на уровне стихотворений представителей самых разных поэтических школ. Даже в редуцированном виде, притча для первых русских книжных виршей является проводником сюжетности, промежуточной формой для образования новых стихотворных жанров с повествовательным компонентом.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Источники:

1. Виршевая поэзия (первая половина XVII века). М.: Сов. Россия, 1989. 480 с.
2. Вяземский П.А. Стихотворения. М.: Советский писатель, 1958. 508 с.
3. Никон, Патриарх. Труды. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. 1264 с.
4. Словарь русского языка X–XVII вв. Вып. 20. М.: Наука, 1995. 288 с.

Литература:

5. Алёхина Л.И. Комментарии / Древнерусская притча. М.: Советская Россия, 1991. 528 с.
6. Добротворский С. Притча в древнерусской духовной письменности // Православный собеседник. Казань. 1864. № 3. С. 375–415.
7. Лихачёв Д.С. поэтика древнерусской литературы. Л.: Наука, 1967. 372 с.
8. Панченко А.М. Русская стихотворная культура XVII века. Л.: Наука, 1973. 280 с.
9. Прокофьев Н.И. Древнерусские притчи и их место в жанровой системе литературы русского средневековья // Литература Древней Руси: Межвузовский сборник научных трудов. М.: МГПИ, 1988. С. 3–16.
10. Прокофьев Н.И. «Прелесть простоты и вымысла» // Древнерусская притча. М.: Советская Россия, 1991. 528 с.
11. Ромодановская Е.К. Специфика жанра притчи в древнерусской литературе // Евангельский текст в литературе XVIII–XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Сб. науч. трудов. Вып. 2. Петрозаводск: ПетрГУ, 1998. С. 74–111.
12. Сазонова Л.И. Литературная культура России. Раннее Новое время. М.: 2006. 896 с.